94\_01\_Каминский

***Евгений Каминский***

**Чаша сия**

*Роман*

*(окончание, начало в № 91, 92, 93)*

— Не могу объяснить вам своего состояния, — графиня сосредоточенно смотрела перед собой, — Еще накануне вечером, после молитвы перед образом Спаса Нерукотворного, я твердо решила посвятить себя служению Богу, но уже утром, когда солнце щедро залило всё вокруг светом, когда нельзя было не смеяться и плакать от переполнявшего душу восторга перед этим прекрасным, совершенным миром, мне опять хотелось любить и быть любимой. Любить не только Господа, но и человека, с которым можно разделить этот переполняющий душу восторг.

Я едва держалась на ногах, когда шла навстречу генералу. Потому что не знала, как скажу ему о своём отказе. Ведь я не знала, найдутся ли у меня силы отказаться. Отказаться от любви земной. Но едва я увидела его грустные глаза и чуть рассеянный взгляд, едва поняла, что даже в эти минуты душа его не со мной, а в горней стране, в поисках встречи с той, единственной, любимой, которая умерла столько лет назад, я поняла, что приняла вчера единственно правильное решение.

Пряча от генерала свои руки с дрожащими от волнения пальцами, я сказала, что не могу принять его предложение. Сказала, и мое сердце едва не разорвалось от любви к нему, в тот момент удивлённому, сбитому с толку, обиженному.

Он словно проснулся и не верил своим глазам. Ведь ещё вчера он видел сверкающие глаза девушки, смотрящие на него с любовью, восторгом, обожанием.

Своим отказом я задела его самолюбие. Да-да, гордость его страдала. Он был обижен, раздосадован: ведь на него теперь могли посмотреть, как на человека, погнавшегося за миллионершей и потерпевшего неудачу. Благородное сердце его было оскорблено мыслью, что отныне в свете будут злорадствовать по поводу его неудачного сватовства.

Сдержанно попрощавшись со мной, он направился к двери, и я услышала с горечью брошенную им фразу: «Война и та надёжней любви».

Через несколько дней он уезжал на войну…

*«В половине двенадцатого князь в окружении офицеров своего штаба находился перед строем Навагинского полка. Переминаясь с ноги на ногу, солдаты хмуро поглядывали на суетящихся командиров, ждали сигнала.*

*— Граф! — обратился Долгоруков к Толстому, — Прошу ва, напомните тем господам, — князь указал в сторону стоящих возле кирки шведов, — что приближается момент открытия военных действий.*

*— Стоит ли, ваше сиятельство? Сандельс письменно предупрежден Тучковым! — вмешался полковник Берлир.*

*— Знаю, Алексей Денисьевич! Но предпочитаю это plus convenable. Лишнее напоминание не повредит! — ответил Долгоруков. — Давай, Федя!*

*Толстой весело пришпорил коня, направив его к шведскому ведету…*

*Через десять минут, так и не дождавшись возвращения Толстого, Долгоруков в сопровождении офицеров поехал к демаркационному пункту. Князь нервничал, поглядывая на раскрасневшегося Толстого, энергично размахивавшего руками в обществе двух шведских офицеров. Долгоруков не понимал причины столь длительных переговоров с противником. Неожиданно к двум шведам подъехал третий. Он вынул свои часы и предъявил их Толстому.* *Долгоруков узнал в третьем шведе капитана Бруссина — образованного и воспитанного молодого человека. Еще две недели назад он вместе с полковником Сандельсом был приглашен Долгоруковым на обед. Тогда в Палоисе, все очень любезничали, и никто даже словом не обмолвился о войне…*

*— Что там случилось? — процедил сквозь зубы князь.*

*В этот момент Толстой, кивнув шведам, развернул своего жеребца.*

*— Они утверждают, что до полудня остается ещё три четверти часа! — доложил граф Долгорукому. — Их часы против моих отстают более чем на полчаса! — Толстой протянул свои часы князю.*

*— Вздор! — воскликнул князь, вынул свои часы и сравнил их с часами Толстого, — На моих, как и на твоих, Федя, ровно одиннадцать и три четверти. А как у вас, господа?*

*Алексеев, Тейль, Жадовский, посмотрели на свои часы: их показания отличались от князевых не более, чем на три минуты.*

*Пока продолжалась эта проверка часов, три шведских офицера во главе с капитаном Бруссином начали приближаться к русским. Бруссин держал в ладони свои часы. Увидев приближающихся* *шведов, Долгоруков поморщился и обратился к Берлиру:*

*— Алексей Денисьевич, разъясните этим господам ситуацию. Мне самому не хотелось бы сейчас объясняться с ними…*

*Берлир и Толстой встретили шведов в нескольких шагах от Долгорукова. Все вынули свои часы и принялись сверять их. Разница составила 35 минут. Князь исподлобья наблюдал за шведами. Наконец, повернувшись к Тейлю, произнес по-французски:*

*— Эти господа просто хотят выиграть время! Однако теперь час или полчаса не много значат.*

*К Долгорукову приблизился всадник. Князь узнал в нем одного из ординарцев Тучкова. Ординарец приветствовал генерал-адъютанта и передал ему донесение. В нём сообщалось, что движение Низовского и Ревельского полков, назначенных к совершению обходного маневра, Тучковым приостановлено, и полки возвращены на свои места.*

*— Вот вам и Тучков! — тихо сказал Долгоруков и опустил лицо. Потом медленно поднял его и, посмотрев на своих офицеров, добавил: — И без его помощи справимся!*

*Долгоруков ещё не знал о том, что в 10.30 утра генерал-лейтенантом Тучковым получено предписание главнокомандующего Буксгевдена ограничиться сегодня на фронте оборонительным положением. Следуя этому предписанию главнокомандующего, Тучков вернул Низовский и Ревельский полки, а сам отправился из Савоярви к Иденсальми с тем, чтобы лично известить князя об этом предписании. В этот момент он ещё находился в пути…*

*— Время, барон! — взглянув на часы, по-французски обратился Долгоруков к Тейлю, — Скажите этим господам, что мы начинаем.*

*Барон вежливо поклонился и направился к шведским офицерам, которые всё ещё пытались передвинуть стрелки русских часов на полчаса назад. Берлир и Толстой, раскланялись со шведскими офицерами, и капитан Бруссин, пришпорив своего коня, поскакал назад — к шведскому ведету, где его ждали трое драгун. Два других шведских офицера, переговариваясь, поехали следом за ним.*

*Долгоруков опять вынул часы и, хмурясь, произнес: — Без пяти минут!*

*Эти последние пять минут он сухо отдавал приказания офицерам…*

*— Пора! — вдруг крикнул Толстой, глядя на Долгорукова.*

*— Давай, Федя, с Богом! — кивнул головой князь, и Толстой с двадцатью пятью казаками бросился к проливу вслед за шведскими всадниками.*

*Толстому было поручено догнать шведов и завязать с ними перестрелку по эту сторону моста, тем самым мешая другим шведам, поджидавшими своих товарищей на той стороне разрушить мост сразу после прохода по нему своих. Однако капитан Бруссин и его товарищи за те несколько минут, пока русские ждали полдня, довольно далеко оторвались от казаков Толстого, и те не смогли догнать шведов на кратком — чуть больше версты — отрезке, отделявшем Иденсальмскую кирку от моста через пролив. Тем более не смогли этого сделать две пешие роты егерей под командованием майора Тверитинова и пионеры капитана Ключарева, бросившиеся бегом к мосту ровно в полдень.*

*Шведские драгуны благополучно переправились через пролив и под прикрытием сильного ружейного огня разрушили мост — сбросили заранее подготовленный к этому его настил в воду. Когда казаки Толстого вылетели к проливу, моста уже не было. Подоспевшим к переправе следом за казаками егерям Тверетинова не оставалось ничего другого, как рассыпаться по берегу и начать перестрелку со шведами.*

*Тем временем с барабанным боем и развернутыми знаменами, в полном соответствии с диспозицией, к мосту двинулись остальные русские войска. Демаркационный рубеж был перейден авангардом Долгорукова несколькими минутами позже полудня…*

*Князь Михаил находился во главе егерей 4-го полка, когда ему донесли, что шведам удалось разобрать мост. Князь приказал немедленно послать вперед конные орудия, и уже через несколько минут те опередили егерей. Долгоруков пришпорил коня: он собирался лично указать артиллеристам место для установки орудий.*

*Когда орудия выпрягли, и возле них завозились артиллеристы, князь остановился возле одной из пушек и прильнул к зрительной трубе, рассматривая шведские позиции. Пушки тем временем готовили к стрельбе: артиллерист с банником — первый номер — ждал, когда второй номер, сосредоточенный и хмурый, заложит заряд в дуло. Офицер молча смотрел на Долгорукова.*

*— Ваше превосходительство! — обратился к князю фейерверкер, — Шведы бьют прямо из домов! Прикажете их выкурить?*

*Действительно шведы вели прицельный огонь по русским не только из вырытых в земле укреплений, но и непосредственно из домов видневшейся впереди деревни Каупила, мешая русским приступить к восстановлению моста.*

*— Зажечь деревню, — сухо скомандовал князь.*

*Артиллеристы тут же начали обстрел ближайших домов.*

*Особенно незавидным было положение пионерской роты капитана Ключарева и поручиков Кучинского и князя Оболенского. Будучи на мосту как на ладони и потому представляя собой прекрасную мишень для противника, они пытались соединить берега пролива и дать дорогу войскам. Вражеский огонь по одиночке выбивал солдат, не имеющих возможности спрятаться за деревья или хотя бы лечь на землю. Под неумолкающую канонаду стучали топоры: люди, сгибаясь под тяжестью древесных стволов, словно муравьи, упорно тащили их к мосту. Тащили, не обращая внимания на жужжащие пули, на ядра, рвущие под ногами землю. Едва им, подбадривающим друг дружку, удалось настелить мост срубленными стволами, как егеря Тверитинова едва ли не на четвереньках начали перебираться на тот берег. Там они занимали удобную позицию и открывали стрельбу по противнику.*

*Тем временем русские войска концентрировались возле моста. Они ждали, когда переправившиеся на вражескую сторону егеря отодвинут шведов от моста и можно будет начать переправу.*

*Князь обратился к командирам своего корпуса и штаб-офицерам: — С Богом, господа! — потом, указывая на неприятельские укрепления, добавил: — Вот вам георгиевские кресты.*

*Полки двинулись вперед: огромная гусеница, подымая пыль и сверкая на неярком солнце щетиной штыков, поползла через мост. Первым переправился 4-й егерский полк. Строясь прямо на ходу, егеря двинулись к деревушке Каупила. Там в ямах засели шведские стрелки, которых егеря должны были выбить, чтобы обезопасить переправу русских через пролив. Из опасения быть отрезанными шведы стали отходить. Не встретив сопротивления со стороны противника, егеря пошли по дороге, сразу за проливом поворачивавшей направо вдоль берега озера Пиели-Ярви. Согласно плану на атаку, егерей 4-го полка должен был поддержать Навагинский полк, начавший переправу следом. Тенгинский же полк, переправясь через пролив за Навагинским, должен был принять влево, и, отойдя от переправы на ружейный выстрел, занять лес, по которому шведы могли обойти маленькое озеро Алемайнен, находившееся за Каупилой, и выйти в тыл правой колонны русских войск.*

*Всё это время генерал Алексеев находился при князе. Лишенный собственных войск, — Митавский полк ввиду его малочисленности на момент начала битвы в сражении не участвовал, — он не особенно переживал свое бездействие. Уже с утра адъютант Ильи Ивановича дважды устраивал ему небольшую трапезу, и Алексеев пропустил уже несколько рюмок. Однако когда Навагинский полк перешел на ту сторону пролива и начал переправу Тенгинский полк — последние ударные силы Долгорукова, князь неожиданно для Алексеева поручил тому командование правой колонной, и Алексеев бросился догонять навагинцев.*

*Князь Михаил наблюдал в подзорную трубу за продвижением 4-го егерского полка.*

*— Из одного боя в другой! С поля сражения прямо на марш, и с марша — снова в бой! И так всю войну. И все с той же бодростью духа, с той же храбростью и терпением… Вот что такое русское воинство, господа! Да, оно может проиграть баталию, но его нельзя победить! Разве не так?! — не отрываясь от трубы, обратился Долгоруков к своим офицерам.*

*Всё пока складывалось именно так, как он и предполагал. Егеря 4 полка с ходу заняли нижние укрепления шведов и начали продвижение к нагорным. На несколько мгновений оторвавшись от наблюдения, князь приказал майору Судакову участить огонь его лёгкой артиллерийской роты. С удвоенной частотой заработали пушки, поддерживая атаку русских. Ядра не давали шведам возможность организовать сопротивление егерям, с завидным упорством берущим всё новые рубежи. В последний раз окинув картину боя и ещё раз удостоверившись в том, что всё идёт согласно диспозиции, Долгоруков спешился.*

*— Теперь и нам пора, господа, — сказал он окружавшим его офицерам.*

*Осеннее солнце замерло, словно не желая вмешиваться в течение истории, которая должна была поставить очередную зарубку в этом глухом финском местечке. Ветер стих, и лес стоял не шелохнувшись. Казалось, всё это время напряженно ожидавший начала сражения, он всё же обмер от неожиданности.*

*В сюртуке нараспашку, из-под которого выглядывал бывший здесь в употреблении почти у всех офицеров шпензер, Долгоруков двинулся к мосту. Офицеры свиты торопливо спешились и последовали его примеру. Переправившись через мост, шли кучно, вполголоса переговариваясь. Князь — чуть в стороне от остальных: у бедра — сабля, в левой руке — зрительная труба, в правой — трубка в коротеньком чубуке. Толстой всё время старался держаться между князем и возможными неприятельскими пулями. То и дело оборачиваясь, Толстой с улыбкой смотрел на Долгорукого. Тот на улыбку Толстого не отвечал: был погружен в себя. Неожиданно Долгоруков потребовал к себе ординарца Нестерова.*

*— Хорунжий, голубчик, попросите полковника Берлира и барона Тейля присоединиться к нам! Они на батарее Судакова.*

*«Александр не пожелал брать меня в Эрфурт! — в который уже раз за последний месяц мучительно вспыхнуло в голове князя, — Именно потому не пожелал, что во что бы то ни стало ищет мира с Бонапартом. Русский царь хочет мира с антихристом! Неужели он всерьеёз считает, что этим соглашением с французом можно оберечь Россию от грядущей войны? Наполеону нельзя верить! — князь усмехнулся, вспомнив Жозефину, строившую ему глазки на одной из парижских официальных встреч, и Бонапарта, кажется, одобрявшего её. — А ведь и в Петербурге, и в Москве многие теперь бредят Наполеоном и республикой. О, этот растлевающий дух республики! Безумцы!»*

— Со времени той нашей встречи, — продолжала графиня, — мы не виделись, хотя каждое мгновенье я думала о нём. Я не могла спать и ничего не ела. Ещё и ещё раз я проверяла свои чувства, которые испытывала в те мгновения, когда мои губы произносили болезненные для него, но более для меня слова, когда рушился прекрасный замок моего счастья. Замок, в котором я не прожила ни одного дня. О, я готова была бежать к нему, чтобы сказать, что люблю его настолько сильно, что вся жизнь моя, всё моё будущее теперь сосредоточены в нём.

Я перестала быть собой. И хотя пыталась через молитву призвать на помощь Господа, чувства, терзавшие меня, рассеивали молитву; я читала псалмы и не понимала ни слова. Я была разбита. Я снова была на краю жизни.

И вот, когда я уже собралась послать кого-нибудь к генералу с письмом, в котором брала свое слово назад и просила его дать мне ещё некоторое время подумать, вновь явился юродивый.

Я выбежала к нему навстречу и едва не бросилась ему на шею. Так много мне хотелось узнать у него, бывшего своим среди ангелов. Однако, даже не посмотрев в мою сторону, юродивый задумчиво прошел мимо меня.

В комнате он взял со столика мой платочек и, обернувшись ко мне, посмотрел вопросительно. Я молча кивнула, удивлённая таким его поведением. Сунув платок за пазуху, юродивый направился к выходу. Я пыталась остановить его, но он, несмотря на мои возражения, шёл из комнаты. Идя следом, я умоляла его остаться и выслушать меня. Только в передней он наконец обернулся и, вытащив мой платочек, сказал:

— Надо утешить его, бедненького.

— Кого? — воскликнула я, на самом деле зная, о ком говорит юродивый.

— Мученика, — сказал юродивый, улыбнувшись, — То-то ангелы скоро возрадуются!

Сказал и пошёл прочь. Отпустив его от себя на некоторое расстояние, я пошла следом.

Со мной увязалась одна из горничных девушек. Она отговаривала меня идти за дурачком, ведь никому не было известно, куда он направляется. Но я шла следом. В тот момент я не могла оставаться дома. Я знала, что сейчас что-то произойдет, возможно, непоправимое, и я потом буду укорять себя всю жизнь. Стараясь оставаться незамеченной, я не отставала от юродивого. А он — догадка моя подтверждалась! — шёл к дому генерала. Наконец юродивый остановился перед домом, возле которого стояли экипажи и крутились военные. Слуги выносили сундуки. Я встала за угол дома, очень близко от единственного пустого пока экипажа.

И вот появился он, решительно отвергнутый и одновременно так горячо мною любимый. Бледный, подтянутый, он был сосредоточен, углублён в себя. На прекрасном челе его я впервые заметила скорбную складку. Следом шла его мать с образом Богородицы в руках, вероятно, тем самым, которым ещё недавно собиралась благословить сына на женитьбу.

Возле экипажа они остановились. Не говоря ни слова, сын обнял мать и сел в коляску. Мать поднесла к его губам икону и застыла в ожидании. Прежде, чем поцеловать образ, генерал горько покачал головой, словно ещё раз вспомнил, по какому поводу ещё несколько дней назад должен был целовать его. Мать с иконой отошла от коляски, рядом с генералом сел его адъютант. Они собрались ехать.

В этот момент юродивый подошел к экипажу и протянул генералу руку с моим платком, говоря:

— На, возьми на счастье!

Надо сказать, что генерал так же хорошо, как я, знал юродивого. Тот часто бывал в их доме, и с ним особенно любила беседовать его мать.

Улыбнувшись дурачку, генерал взял из его рук платочек, на котором были вышиты мои инициалы.

Вот сейчас, думала я, он прочтёт инициалы, подымет голову, ища меня глазами среди провожающих, потом выскочит из коляски и бросится туда, где стою я. Так думала я в тот момент…

*«Ядра со шведской стороны были довольно часты, однако, офицеры словно не замечали их, не пригибаясь и даже не поворачивая головы при очередном разрыве. Это не было демонстрацией бесстрашия или игрой тщеславия. Просто одной из обязанностей этих людей была готовность в любой момент принять смерть. Но поскольку смерть была всё время рядом с ними, они перестали обращать на неё внимание.*

*Все довольно быстро шли под гору. Поглощённый собственными думами, Долгоруков отделился от своих офицеров и перешёл на левую обочину дороги. Никто из офицеров не осмелился последовать за князем: все видели — генерал ищет одиночества. Толстой тревожно смотрел на Долгорукова, потом не выдержал и перешёл на его сторону.*

*— Позвольте остаться рядом, ваше сиятельство? — весело и одновременно осторожно спросил граф, пытаясь поймать взгляд Долгорукова.*

*— Что прибежал-то? Боишься, что не убережешь генерала? — вынув изо рта трубку, спросил Долгоруков, — Ты, брат Фёдор, просто в Бога не веришь. Верил бы, положился б на его волю. Если Богу будет угодно, ни тенгинцы с навагинцами, ни дядя Фёдор не уберегут меня от пули.*

*Толстой хмурился: оказывается, его сокровенный замысел не был для генерала тайной.*

*— Ну-ну, не хмурься. Знаешь, государь произвёл меня в генерал-лейтенанты. Завтра — послезавтра должен прибыть указ.*

*— Отчего же вы тогда грустны, ваше сиятельство? — осклабился граф, — Радоваться надобно, а не грустить. Ведь теперь вы уравнены с Тучковым. Правда, самого Николая Алексеевича это едва ли порадует!*

*— Зря ты так про Тучкова. Несладко ему… Как можно воевать с противником, если с союзником общего языка найти не можешь?! По себе знаю, как тяжело ему теперь.*

*— Что тяжело, ваше сиятельство?*

*— С гордыней справляться, Федя. Вижу, борется он с собой, ради пользы дела борется…*

*— Ради пользы дела? Что ж он тогда свои полки вернул?! Ведь без Низовского и Ревельского Сандельс может простоять до вечера. И ещё скольких наших положит! — вспыхнул граф.*

*Толстой и Долгоруков некоторое время шли молча.*

*— Скажи, Федя, — неожиданно спросил князь Михаил, — ты там, у Крузенштерна, действительно жил… с обезьяной?*

*Толстой вскинул брови, хотел было разразиться тирадой, но, взглянув на задумчивого генерала, — тот, кажется, не собирался над ним смеяться, — лишь грустно покачал головой: — Вот и вы о том же, ваше сиятельство.*

*— Ну, извини, извини, брат, не хотел тебя обижать. Ты знаешь, государь сообщает мне о том, что уговорил Марию Фёдоровну отдать за меня Екатерину Павловну. Пишет, что Мария Фёдоровна всё это время отмалчивалась в ответ на его просьбы дать согласие на наш с Катей брак. Последний месяц он уж и не просил её об этом! А она вдруг сама об этом деле — мол, согласна, пусть будет князь Михаил! — Долгоруков вопросительно посмотрел на графа.*

*— Удивительно! И с чего бы это упрямая старуха пошла на попятный? Но вы, ваше сиятельство, вроде и не рады этой победе?! — Толстой по-разбойничьи оскалился и едва сдержался, чтобы не обнять князя.*

*— Просто не верю в то, что наш брак состоится.*

*— Как же не состоится, если сам государь об этом сообщил?*

*Но Долгоруков словно не слышал графа.*

*— Скажи, Фёдор, думал ли ты когда-нибудь о собственной смерти?*

*— Хм…*

*— Даже когда стрелялся, не думал?*

*— Если о ней думать, когда стреляешься, то непременно её и получишь! А я, ваше сиятельство, погулять люблю. Жизнь — прекрасная возможность нагуляться.*

*Долгоруков усмехнулся.*

*— Всё, больше не ходи за мной, не сторожи, я — не младенец! Ступай к остальным. Хочу собраться с мыслями. Скоро придём.*

*Толстой нехотя перешёл на другую сторону дороги и присоединился к офицерам. Все понимали: командующего сейчас лучше не трогать. Позади кто-то пронзительно свистнул: их догоняли полковник Берлир и майор Тейль. Заметив Берлира и Тейля, князь остановился, махнул остальным офицерам, мол, идите без меня… Редкое ядро с неприятельской стороны просвистело где-то высоко над головами и, разрывая воздух, понеслось в сторону пролива, внося в канонаду приближающегося боя свою шипящую ноту.*

*Берлир что-то крикнул Долгорукову. Тот приложил ладонь к уху: не расслышал. Прямо над головами офицеров раздался свист ядра, неожиданно прервавшийся глухим ударом. Сразу вслед за этим там, за спинами офицеров, упало что-то тяжёлое. Все, вздрогнув, остановились. Кровь схлынула с лица Толстого. Медленно, словно боясь увидеть неизбежное, он повернулся. Князя на дороге не было. Толстой сделал несколько шагов назад, потом побежал к обочине…*

*Словно порыв ветра в душу ворвалось небо. Князь не понимал, каким образом он, всё тот же, ничуть не изменившийся, разве что избавившийся от груза собственного тела, вдруг стал таким огромным?! Настолько огромным, что вместил в себя и небо, и покрытые хвойным лесом окрестные холмы, и неподвижные линзы озер — весь этот бесконечно длящийся мир, вдруг ставший частью его, Михаила Долгорукова, сущности. Он видел своё безжизненное тело в придорожной яме, и это казалось ему таким мелким, незначительным в сравнении с той огромностью, которую он теперь ощущал в себе. Спокойно глядя в заостряющиеся черты собственного лица, он дивился тому, насколько крепко всегда был привязан к этому ничтожному куску плоти, ко всему тому, прежнему, не стоящему и малого мгновения этого, нового. Смерть дотла выжгла в нём жизнь с её честолюбивыми устремлениями и страстями. Князь стоял над битвой, уже пророчески прозревая её исход, без трепета глядя на смерть и страдания солдат. У него больше не было врагов на земле. И люди, убивающие сейчас друг друга, были для него уже бессмертны. Поэтому он взирал на их смерть спокойно и радостно. А там, где начиналась вечность, стоял Тот, на кого он теперь мог смотреть, но чей взгляд был ещё не в силах вынести…»*

— Я уже готова была выйти к нему и сказать, что принимаю его предложение, поскольку жизнь моя без него невозможна. Но он даже не взглянул на платок! И не прочитал инициалы. Лишь машинально передал платок своему адъютанту, который взял его, осмотрел и, пожав плечами, сунул себе в карман.

Генерал принял платок от юродивого только потому, что не хотел его обижать. Принял, даже не взглянув на платок, наверное, потому, что не верил в своё счастье. На душе у него было тяжело, но, увы, не от любви ко мне! Гордый, он, конечно же, упрекал себя за слабость, за то, что согласился сделать мне предложение. Ведь он не любил меня! — графиня улыбнулась, — Я понимала это, но что я могла сделать со своим сердцем?! Не могла же я приказать ему не любить! Той моей любви хватило бы нам обоим! Но он даже не взглянул на платок!.. Наконец он махнул рукой, и экипажи тронулись. Так он уехал на войну, чтобы умереть.

Графиня замолчала.

— Не умереть — погибнуть, — сухо произнес гость, — он не хотел умирать.

— Да, наверное это так, — подтвердила графиня.

— Ну вот, графиня, вы и подтвердили то, что я утверждаю, — забормотал гость, потирая руки, — случайной смерти не бывает. Даже на войне! Все просто: генерал был убит ещё до войны. А там, на поле брани, судьба лишь доиграла эту драму до финала. Теперь я знаю виновника этой смерти!

— Вы имеете в виду платочек? — улыбнулась графиня сквозь слезы, — Считаете, генерал умер потому, что не принял его от юродивого? Полно, дело не в платке и не во мне даже…

— Нет, как раз в вас! — воскликнул гость, — Смею утверждать, что генерал питал к вам симпатию. Здесь написано, — он указал на свою папку, — что генерал на войне ждал писем от своей… в общем, я уверен, от вас!

— Но я не собиралась писать ему! После его отъезда в войска между нами всё было раз и навсегда решено. После того, как пришло известие о скоропостижной смерти генерала, я навестила его мать. Она рассказала мне о том, как их домашние во время того прощания перед воротами дома расстроились, когда их любимый барин передал своё счастье — платочек! — адъютанту Закревскому! В тот момент она поняла, что больше не увидит сына живым. Всё, что у неё осталось от него — его сердце, которое теперь хранится в приходской церкви их дома. Кстати, был всё же один человек, который радовался при расставании с генералом. Юродивый! Радовался, поскольку уже видел его у престола Божьего.

— Закревский? — спросил гость удивленно. — Вы сказали Закревский?

— Да, адъютант генерала Закревский.

— Но адъютантом генерала был Жадовский!

— Возможно, я что-то путаю, — произнесла Анна Алексеевна.

— Подождите минутку! — гость открыл папку и стал листать страницы. Наконец, нашел нужную: — Да нет же, Жадовский! Тут написано Жа-дов-ский. И потом, графиня, вы как-то странно сказали о смерти генерала, назвав её скоропостижной!

— Да, он умер при странных обстоятельствах, — сказала графиня и с интересом посмотрела на взволнованное лицо гостя, — возможно, его отравили.

— Отравили?! — вскрикнул гость и вдруг захохотал, — Графиня, генерал погиб на поле брани! Пушечное ядро пронзило его грудь.

— О ком вы говорите? — испуганно пролепетала Анна Алексеевна и села на стул.

— О генерале Михаиле Петровиче Долгоруком! — выкрикнул гость, сорвавшись на фальцет.

— А я, — произнесла графиня, растерянно улыбаясь, — рассказала вам о генерале Николае Михайловиче Каменском.

*«Долгоруков лежал в неглубокой придорожной яме. Толстой наклонился к нему, протянул руку, но вдруг застыл. Подбежали Липранди и барон Тейль и молча уставились на мёртвого генерала. Фуражки на голове князя уже не было, но его левая рука ещё сжимала зрительную трубу. Князь лежал на спине с открытыми глазами. Лицо его не изменилось: лёгкий румянец лежал на скулах. Думалось, вот сейчас он улыбнется и скажет: „Пустяки, господа!“ Трехфунтовое ядро, раздробив правый локоть князя, ударило его в бок и, пройдя между позвоночником и грудиной, упало в траву. Князь был мёртв.*

*Бледный как полотно Толстой осторожно приподнял голову князя. Он удивлённо смотрел в глаза Долгорукову, смотрел до тех пор, пока кто-то из офицеров не закрыл их князю. Не выпуская* *головы князя, Толстой обернулся, чтобы увидеть того, кто посмел это сделать. Офицеры вокруг графа что-то кричали; полковник Берлир, задыхаясь, отдавал приказания, а Толстой всё так же недоуменно вглядывался в застывшие черты своего генерала, не в силах поверить в то, что тот мёртв.*

*Прибежал Липранди с артиллеристами майора Судакова: офицером и несколькими солдатами, среди которых был фейерверкер, ещё недавно указывавший князю на шведов, засевших в избах. Артиллеристы положили тело князя на доску, принесённую с собой с батареи, и, накрыв парусиной, понесли.*

*Кто-то тронул Толстого за плечо. Граф медленно распрямился. Пряча глаза от графа, Липранди крепко сжал его плечо, потом обнял. Толстой нахмурился, отодвинул от себя Липранди и бросился вслед за артиллеристами, уносившими Долгорукова к мосту. Те остановились: весь измазанный кровью Долгорукова Толстой, сорвал с головы князя покрывало и своим безумным сейчас взглядом впился в его уже мёртвые черты. Он смотрел и смотрел, словно пытаясь увидеть в лице князя скрывавшуюся до сих пор от его глаз деталь, маленькую пульсирующую жилку, говорящую о том, что генерал, конечно, жив и сейчас очнётся. Артиллеристы смотрели в землю, боясь шевельнуться. Этот поручик с налитыми кровью глазами мог теперь броситься на любого из них. Они так и стояли с офицером во главе, не смея шевельнуться. Обращённое в небо бледно-серое лицо князя стало суровым и торжественным, словно ему сейчас предстоял разговор о чём-то важном, гораздо более важном, чем вся эта жизнь.*

*— Он уже там, — шёпотом произнес граф и осторожно накрыл лицо князя парусиной. Потом как-то по-стариковски сгорбился и весь словно обмяк.*

*Шагавший во второй шеренге Ребров то и дело слышал бодрый голос Карпенко, подбадривающего солдат, и это придавало ему уверенности. Едва первые роты 4-го полка переправилась через кое-как настеленный мост, шведы усилили стрельбу. Построившись под огнём, русские двинулись извилистыми шеренгами на шведские укрепления. То на правом, то на левом фланге стали падать солдаты: одни — ничком, без звука, другие — навзничь, выпучив глаза от неожиданности и нестерпимой боли. Их товарищи, словно не замечая этого, тут же смыкали цепь и, выставив штыки, продолжали движение.*

*— Не робей, братцы! — подбадривал Карпенко, поглядывая налево, где через четыре груди от него, нетвёрдо шагал бледный* *Ребров.*

*Карпенко усмехнулся: «Небось, молится пономарь!»*

*Неприятельская артиллерия била с перелётом: ядра и картечь свистели высоко над головами егерей. Шведские артиллеристы всё ещё вели обстрел моста, надеясь разрушить его прежде, чем основная масса русских войск переправится на эту сторону.*

*Кроме того, они безуспешно пытались подавить огонь батареи Судакова, уже запалившей несколько окраинных домов деревни, входивших в систему оборонительных укреплений неприятеля.*

*Бодро покрикивающий Карпенко по собственному опыту знал, что долго так продолжаться не может, не должно! Еще немного, и шведские артиллеристы непременно ударят по ним, и тогда начнется мясорубка. Однако за те несколько минут, что были ещё у русских, они могли вплотную приблизиться к первой линии* *неприятельских укреплений. Это понимали и майор Обернибесов, командовавший егерями, и его офицеры. Понимали и бегом гнали своих солдат вперед.*

*Ожидание встречной картечи до предела натянуло нервы егерей. Все они с дрожью ждали момента, когда куски раскаленного металла со свистом врежутся в первую шеренгу, с хрустом вырвав из неё сразу тройку, а то и пятёрку бойцов. Ждали и молили Бога, чтобы этот первый залп пришелся не в них. Однако картечь всё ещё свистела над их головами.*

*Русские были уже в сотне шагов от укреплений, когда шведские стрелки вдруг стали выпрыгивать из своих ям. Низко пригибаясь к земле, они бросились к своим — в сторону второй оборонительной линии, устроенной на высоте. Майор Обернибесов вынул из ножен шпагу. Первая шеренга, став на колено, прицелилась, и вдогонку бегущим шведам покатился залп, погрузив егерей в клубы порохового дыма.*

*«Вперед, братцы! Ура!» — зычно скомандовал Обернибесов, и егеря, рассыпаясь по всему пространству и раскатисто подхватывая это «ура!», бросились вслед за убегающим противником.*

*Первая линия укреплений противника была занята егерями в считанные минуты. Несколько оставшихся в окопах шведских стрелков были или мертвы, или тяжело ранены…*

*Ребров не заметил, как Карпенко оказался рядом с ним.*

*— Сейчас ударим в штыки, держись, паря! — крикнул Карпенко и подмигнул Реброву, желая его ободрить.*

*Ребров в ответ слабо улыбнулся. Он всё ещё не пришёл в себя. Когда они только пошли в атаку, и со стороны неприятеля зажужжали первые пули, Ребров зажмурился, ожидая, что свинец сейчас непременно ударит его в лицо. Однако пули свистели где-то рядом, и лишь порой лица касалось легкое трепетание воздуха, разрезанного кусочком металла.*

*Слева и справа от Реброва всё чаще падали его товарищи. Уже не слыша разрывов ядер и оружейной пальбы, оглушённый канонадой боя, он, без устали твердивший Иисусову молитву, однако всё время слышал крик. Этот крик — скорее всего чей-то предсмертный — не прекращался в голове Реброва ни на мгновенье, разрушая в нём спасительную молитву и одной невыносимо высокой нотой садня нервы.*

*Вдруг он понял, что задыхается. Егеря бежали в гору. Выставив штык и скорей по инерции перебирая ногами, он боялся посмотреть вперёд — туда, откуда вслед за огнёнными вспышками с грохотом и шипением в них летели пули и картечь. Он ждал: вот сейчас пуля наконец ударит его в переносицу! Ждал и невольно вытягивался в струнку, предпочитая получить эту пулю в грудь.*

*— Дура! — сипло кричал ему в ухо унтер. — Пригнись!*

*Неожиданно воздух застрял у Реброва в горле, и он остановился, чтобы протолкнуть его в грудь. Широко раскрыв рот, он раскачивался и пытался сделать вдох, а егеря обгоняли его и с хриплым «ура!» неслись навстречу ружейному огню и картечи…*

*То и дело соскальзывая вниз, опираясь на ружье как на костыль, он всё же внёс своё, показавшееся ему неподъёмным, тело на бруствер. Ноги гудели и отказывались подчиняться. Едва не падая от слабости, он остановился. Русские егеря, охватив всё видимое пространство неприятельских укреплений, вступили в штыковой бой. Они пробивались к шведской батарее, стремясь завладеть пушками неприятеля, чтобы, наконец, положить конец убийственному артиллерийскому огню.*

*Произведя ружейный залп за несколько десятков шагов до второй линии укреплений, русские под прикрытием завесы из порохового дыма ворвались на неприятельскую позицию. У них не было времени и возможности перезарядить ружья, и шведы встречали их, выскакивающих на позицию, выстрелами в упор. И несмотря на то, что егерям 4 полка удалось с ходу ворваться на вторую линию шведских укреплений, они потеряли много своих. Оба батальона значительно поредели. Однако, словно не замечая этого, егеря продолжали напирать на шведов, постепенно выдавливая их* *с позиции, и шаг за шагом приближаясь к пушкам.*

*Русским немедленно требовалось подкрепление, которое позволило бы им развить успех и овладеть последней — третьей линией укреплений неприятеля. Майор Обернибесов всё время оборачивался: из-за холма вот-вот должны были показаться колонны навагинцев. Однако тех всё ещё не было видно.*

*В этой горячей человеческой массе нельзя было отыскать уже ничего человеческого: ни жалости, ни сострадания, ни даже капли сожаления. Дух сражения, азарт бойни помрачили душу, и все они, — умные и глупые, добрые и злые, старые и молодые, — однажды* *надевшие военные мундиры и вот, наконец, столкнувшиеся здесь штык в штык в угоду чьим-то непонятным им, чуждым интересам, стремились убить друг друга прежде, чем убьют их самих. И убивали, уже не помня о том, что есть Бог и Его Суд, что людская душа предназначена в этой жизни совсем для другого. Потребность вогнать свой штык в цель, почувствовав при этом вязкое сопротивление плоти, оказалась выше потребности любить. В них осталось лишь чутьё и ярость зверя. Именно это, звериное, управляло сердцами. Это были уже не люди, а рядовые войны. Чужая кровь хлестала им в лица, и они стирали её вместе с собственным потом. Справа и слева от них падали солдаты, и они уже не верили, что их самих убьют. И лишь смертельно раненные, за миг до смерти, вновь становясь людьми, удивлённо смотрели в небо, не понимая откуда оно, такое огромное и чистое, взялось в этом кровавом месиве, в этом кромешном аду. Потом они умирали. И война, более не владевшая их душами, отбрасывала их использованные тела*.

*Когда Ребров увидел штык, направленный ему в грудь, он не поверил в то, что сейчас его убьют. «Не может быть! — мелькнуло в мозгу, — Господь не позволит!» Но в это же мгновение другая простая мысль поразила его своей ясностью: «Отчего же не позволит? Ведь ты такой же, как они!»*

*Неприятельский штык прошёл у Реброва под мышкой. Швед был мёртв: кто-то из егерей бросился к нему, собравшемуся повторно ударить уже не сопротивляющегося Реброва, и пронзил штыком его шею.*

*— Чего стоишь, дурень? — заорал егерь, только что подаривший Реброву жизнь, — Ты же…*

*Егерь не договорил: мешковато рухнул под ноги Реброву. Пуля пробила ему затылок. Если бы не этот егерь, свинец непременно угодил бы Реброву в лоб.*

*Не обращая внимания на свистящие вокруг пули, Ребров склонился над товарищем и перевернул его на спину. Лет тридцати пяти, наверное, круглолицый и курносый, тот лежал с выпученными глазами и открытым ртом: словно пытался договорить фразу, да все слова кончились…*

*Ребров выпрямился, кровь прихлынула к его лицу. С выставленным* *штыком, нелепо переставляя прямые, как палки, ноги, он бросился в гущу схватки. Ему вдруг стало мучительно стыдно за себя, за то, что пока он бездействовал, вокруг гибли его товарищи, гибли, защищая не только себя, но и его. Ребров бежал вперёд, не зная, что будет делать дальше. Ведь дальше следовало вонзить свой штык во врага. И он не мог представить себе, как сделает это. Ведь враги вовсе не являлись его врагами. Он не испытывал к ним ненависти! Не испытывал даже теперь, когда все они пытались его убить. Ему вдруг подумалось, что неприятельские солдаты вовсе не злодеи, а такие же, как он и унтер Карпенко, люди, по чьей-то злой воле, но, скорее всего, по чьей-то дьявольской ошибке вынужденные убивать, убивать, убивать, чтобы только самим не быть убитыми. И тут ему со всей очевидностью открылось: война держится не на людской ненависти, а на страхе быть убитым. Она — длинная цепь зла, где одно звено цепляется за другое из страха, и эта цепь длится, длится настолько долго, насколько хватит этого страха — то есть до тех пор, пока не погибнет последний солдат! И тогда получалось, что если не убить врага, а, напротив, подставить ему свою грудь и самому умереть, только никого при этом не проклиная и никому не желая смерти, то этот кровавый ужас, эта беспрерывная цепь, творимая боящимися собственной смерти людьми, оборвется. И начало не найдет конца. И тогда то, что называется войной, закончится, непременно закончится, просто не сможет не закончиться.*

*Ребров понял, что обязан сейчас умереть, и ему сразу стало легко. Его собственная жизнь на этой войне наконец-то приобрела смысл. И этот смысл был в его смерти.*

*И тут же он увидел приклад, направленный ему в голову белобрысым парнем. Увидел и благодарно улыбнулся. Свет, ослепительно ярко вспыхнув, погас…*

*Когда под давлением массы шведов, вдруг хлынувшей на батарею со стороны третьей линии шведских укреплений, егеря 4-го полка начали спешно отходить, Карпенко оказался в последних рядах отступающих. Он видел, как шведы захватили истекающего кровью Обернибесова, уже лежащего на земле, но всё ещё отражающего нападения своей шпагой, и подумал, что майора можно ещё отбить. Унтер бросился было к нему на помощь, но шведы преградили ему путь, выставив штыки. При этом кто-то из них даже выстрелил в Карпенко, но тот за миг до выстрела отпрыгнул в сторону, и пуля лишь царапнула унтеру ребра. Карпенко остановился, ощерился, приготовясь к последней схватке, однако шведы не бросились на него, вполне удовлетворённые своей добычей — русским майором.*

*Егеря уже в беспорядке покидали неприятельские укрепления. Одним из последних уходил Карпенко. Не желая напоследок получить пулю в спину, он пятился, широко расставляя ноги и выставив штык. Спотыкаясь о тела убитых и выдавливая из них последний не вырвавшийся при жизни выдох, он понимал, что это конец и не думал о смерти. Русские и шведы, окровавленные, изорванные с заляпанными кровью лицами, лежали вповалку на земле; многие, напоследок сойдясь в рукопашной, коченели, намертво вцепившись друг в друга.*

*Внезапно Карпенко узнал среди лежавших на земле Реброва. Половина лица солдата была залита кровью, а его руки широко раскинуты, словно тот обнял напоследок небо. «Убит?» Краем глаза следя за неприятельскими солдатами, которые построившись цепью быстро шли вслед за бегущими егерями, по пути добивая раненых русских, Карпенко прижал ладонь к шее Реброва. «Жив!»* *Рывком оторвав Реброва от земли, Карпенко взвалил его себе на плечи и побежал. Под сильным ружейным огнём добравшись до края укреплений, унтер шагнул на бруствер и прыгнул вниз. Скатившись по склону, он вновь поднял свою ношу и, кряхтя от напряжения, засеменил в сторону леса. Бежать к обстреливаемому неприятелем мосту было верной гибелью. Во-первых, его, несущего на себе раненого товарища, непременно догнали бы шведы. Во-вторых, мост в упор обстреливался неприятелем.*

*В этот момент из-за холма наконец показалась колонна русских войск. Это был Навагинский полк. Только шёл он не на помощь егерям, а спешно отступал к мосту. Ещё не окруженные шведами остатки егерей четвертого полка бросились к навагинцам, стремясь соединиться со своими прежде, чем их настигнет неприятель.*

*Неожиданный выход на поле боя отступающих русских полков оттянул гибель многих егерей, хотя и ненадолго. Шведы прекратили преследовать их и остановились, чтобы занять удобные позиции для обстрела концентрировавшегося на берегу пролива неприятеля. Это позволило спастись примерно тремстам егерям, бежавшим в сторону леса. Шведы их уже не преследовали, предпочтя расстрел* *многих сотен солдат из русского авангарда, столпившихся у моста плотным овечьим гуртом — сплошной шевелящейся мишенью.*

*Сгибаясь под тяжестью Реброва, Карпенко всё дальше уходил вглубь леса и лишь когда удостоверился в том, что его никто не преследует, рухнул в сырой мох.*

*Навагинский полк, ещё в начале битвы перебравшийся через мост в соответствии с диспозицией Долгорукова, в бой, однако, не торопился: принявший на себя командование полком генерал Алексеев в очередной раз закусывал, сидя в походном кресле. Солдаты, уже приведшие себя и амуницию в порядок, построились и ждали команды генерала Алексеева. Однако неожиданно в полк пришло известие о гибели Долгорукова: один из ординарцев полка сообщил Алексееву о том, что князь сражён ядром неприятеля. «Убит?!» — всплеснул руками Илья Иванович и, не выпустив из рук ножа и вилки, заплакал. Он уже успел допить бутылку, и потому* *эта утрата показалась ему вселенской катастрофой. Илья Иванович рыдал, не отрывая от лица скомканный платок, и офицеры полка, испуганно глядя на него, не решались подойти к нему, чтобы напомнить о необходимости выполнения диспозиции…*

*Тем временем, там, за холмом, шло уничтожение 4 полка, который уже не продвигался вперед, а лишь отчаянно оборонялся.* *Только навагинцы могли спасти егерей. Но навагинцы слушали всхлипы Алексеева и всё ещё стояли у переправы…*

*Весть о гибели князя внезапно прервала связь и взаимодействие русских войск. Офицеры полков, получавшие до этого момента распоряжения непосредственно от Долгорукова, были настолько поражены этим известием, что вдруг забыли о том, как им следует воевать. Вера в Долгорукова, в его полководческий талант была столь велика среди русских, что все прочие военачальники оказались не готовы взять на себя управление войсками, чтобы довести начавшееся уже сражение до логического завершения. Приказания в войска больше не поступали, и полки стояли на месте, не зная, что им теперь делать…*

*Известно ли было Сандельсу о смерти Долгорукова, когда он бросал свои последние силы на егерей 4 полка, обнажая собственные тылы и, по сути, раскрываясь противнику? Едва ли. Просто он видел, что русские егеря, значительно поредевшие вследствие отчаянных натисков, бьются уже на пределе возможностей, а подкрепление к ним всё ещё не подошло. Поэтому-то он и бросил всех своих солдат в штыки на русских. Шведы, численность которых на этом участке битвы в несколько раз превосходила силы русских, навалились на передовые части 4 полка и опрокинули их. Едва державшиеся на ногах, израненные майор Обернибесов и капитан Руссинов попали в плен. Русские егеря, находившиеся на подходе ко второй линии укреплений, вдруг увидели, что редут, в котором ещё недавно сражались солдаты майора Обернибесова, вновь занят неприятелем. Ошеломлённые этим открытием, они стали отступать по всему фронту туда, откуда вот-вот должен был показаться Навагинский полк. День стремительно клонился к закату…*

*Тенгинский полк, стоявший по левую сторону от моста через пролив около озерка Алемайнен, первым увидел расстройство и поспешное бегство 4 полка, преследуемого неприятелем. Стало ясно, что атака русских захлебнулась, и полковник Пестель отдал приказ отступать к мосту. Тенгинцы могли бы помочь бегущим русским — принять на себя удар шведов, если бы это бегство происходило несколькими минутами позже, когда Навагинский полк, по сути,* *всю битву протоптавшийся на месте из-за бездействия Алексеева, наконец показался из-за холма. Тогда бы навагинцы вместе с тенгинцами сумели бы остановить шведов и, если не разбить их, то, как минимум, отбросить на прежние позиции. Но тенгинцы не могли видеть за холмом уже начавшееся движение колонн Навагинского полка, ведомого наконец-то взявшим себя в руки Алексеевым; они не знали, где навагинцы и что с ними. Поэтому и начали поспешно отступать к мосту, боясь быть отрезанными.*

*Между тем, Навагинский полк, к которому успела примкнуть часть отступающих егерей 4 полка, неожиданно увидел спешащий назад к мосту Тенгинский полк. Алексеев тут же дал команду отступать в том же направлении и, развернув вверенные ему войска, ускорил шаг.*

*В результате этого неорганизованного отступления сразу три полка русских в беспорядке столпились у моста для перехода. Но мост был настолько узок, что мог пропускать лишь по несколько человек в ряд. Перемешавшиеся русские войска, гудевшие огромным пчелиным роем на берегу пролива, были у шведов как на ладони.*

*И начался расстрел.*

*Только легкая артиллерия майора Судакова могла теперь прикрыть отход Карельского корпуса. Но для того, чтобы подавить огонь бивших в упор шведов, у Судакова было слишком мало орудий. Переправившиеся в начале битвы на шведский берег русские полки были обречены. Многие из солдат, не могущие пробиться сквозь густую толпу к мосту, бросались в воду в надежде переплыть на тот берег, и шведы хладнокровно расстреливали пловцов.*

*В этот драматичный момент сражения к мосту со стороны Иденсальми наконец прибыл генерал-лейтенант Тучков с Ревельским* *полком, вслед за которым шли другие полки, но, главное, — прибыла гвардейская артиллерия полковника Третьякова.*

*Тучков был шокирован открывшейся картиной боя. Направляясь сюда из своей корпусной квартиры с некоторыми офицерами своего окружения с тем, чтобы лично передать Долгорукову распоряжение главнокомандующего об оборонительных действиях на сегодняшний день, он ещё в пути получил донесение о гибели Долгорукова. Предчувствуя катастрофу, Тучков послал в Ревельский полк одного из своих ординарцев с приказом немедленно следовать к месту сражения. Веря в успех атаки корпуса Долгорукова, пусть даже лишившегося своего командующего, Тучков предпринял это на всякий случай, следуя своим тревожным предчувствиям. Он никак не ожидал, что шведам удастся отбить атаку русских и самим перейти в наступление. Это было невозможно: ведь он обсуждал диспозицию с князем Михаилом, и они оба сходились во мнении, что Карельскому корпусу непременно удастся атака. Он был просто уверен в сегодняшней победе русских.*

*И вот теперь, глядя на русские полки, в беспорядке столпившиеся у моста, он не мог поверить собственным глазам. Однако причина поражения русских была ему уже ясна: после смерти Долгорукова управление войсками стало невозможно. Ведь всё в этой диспозиции было завязано на князя, на его непосредственное руководство войсками во время атаки.*

*Именно несогласованность действий привела Карельский корпус* *к катастрофе. Тучков ещё не знал о том, что, если бы генерал Алексеев не вздумал перекусить во время атаки и потом не стал бы по-бабьи оплакивать своего убитого командира, а поскорей двинул навагинцев на помощь егерям Обернибесова, катастрофа бы не произошла. И те войска, которые он, Тучков, привел к мосту, сейчас спокойно переправлялись бы через мост, чтобы усилить группировку русских на том берегу и, если не добить, то, по крайней мере, обратить противника в бегство.*

*И всё же приход Тучкова спас остатки Карельского корпуса. Ревельцы и сразу вслед за ними пришедшие к проливу солдаты Низовского полка рассыпались по берегу и открыли через пролив огонь по шведам, до сих пор расстреливающих русских, как куропаток. Почти сразу заработала артиллерия полковника Третьякова, выбивая окопавшихся на возвышенностях шведских стрелков. У русских на той стороне появилась возможность рассыпаться по берегу и скрыться в зарослях. Многие из них под прикрытием своей артиллерии смогли переправиться через пролив вплавь. Шведы более не стреляли по плывущим русским: они теперь сами пытались укрыться от пушек Третьякова.*

*Ребров открыл глаза: высокое небо с едва заметной половинкой луны, голубоватой, как печной дым, тепло, струями уходящее с земли туда, где высоко-высоко ещё пылает последнее облако… Стремительно вечерело. Стрельба раскатисто и гулко, словно волны прибоя, накатывала сюда со стороны пролива и потом незаметно стихла.*

*Намотав на колёса сотни жизней, отяжелев и завязнув в парном людском мясе, колесница войны стала.*

*«Неужели закончилось?!» — подумал Ребров.*

*Рядом с ним сидел солдат и жадно курил трубку: вдох был судорожно глубок, выдох — продолжителен. Изорванная амуниция солдата была заляпана бурыми пятнами, скинутые сапоги с подвёрнутыми голенищами парили в небо. Терпким потом ударяли в ноздри разложенные на мху подвертки. Ребров хотел поднять голову, чтобы разглядеть того, кто сидел рядом, но не смог — тело не слушалось*, *став чужим, бесчувственным. К тому же в голове у Реброва поселился шум сосен. Краем глаза ещё раз скользнув по ружью и амуниции сидящего рядом солдата, он определил, что тот — русский, и стал плавно погружаться в шум сосен, однако что-то важное, что он никак не мог вспомнить, задержало его на поверхности.*

*— Я живой? — тихо спросил он, глядя в уже почти звёздное небо.*

*— Живой! — усмехнулся Карпенко.*

*Уже более двух часов унтер сидел, прислонившись к сосне. Было холодно, но унтер не разводил огня, боясь привлечь внимание шведов, которые вполне могли сейчас рыскать по лесу в поисках спрятавшихся там егерей.*

*— Странно: я жив, а война всё равно закончилась, — тихо произнес Ребров. — Без моей жертвы! Я думал, войне конец,* *если кто-нибудь один умрёт ради всех, только — без ненависти. И молился, чтобы Господь позволил мне умереть. Я думал, Он меня услышал. Ведь я помню, как умер! Но вот я живой, а война все равно закончилось.*

*— Э, парень! Война не закончилась, а только взяла передышку. Сегодня шведы перебили наших не меньше двух батальонов. А* *навагинцы так и не пришли. Э-эх! — махнул рукой Карпенко. — Виктория за шведом.*

*— Нет, Петр Тимофеевич, я знаю, это Господь остановил сражение. Кроме него — никто не может! Остановил ради души, не имущей злобы. Ради хотя бы одного человека, готового положить живот свой за други своя. Я знаю, была жертва.*

*— Вон их сколько, жертв-то! — возразил Карпенко.*

*— Нет. Ему не нужна просто кровь. Не жертвы хочу, но милости… Ему нужна любовь, нужен агнец, который любит, который с радостью может умереть за Него. Чтобы пресечь зло, нужна жертва любви! Кто-то обязательно должен умереть любя! Тогда снова будет жизнь, и люди будут люди, а не звери. Я хотел умереть, чтобы мы перестали друг друга убивать. Но — не умер. Значит, это сделал сегодня кто-то другой…*

*Опустив голову, поручик Толстой сидел на скамье в комнате, где последние недели жил князь и его адъютанты. В центре комнаты стоял обеденный стол (за ним ещё вчера обедали князь и офицеры), на котором лежал мёртвый Долгоруков. Около князя толпились медики во главе с Арендтом: они бальзамировали его тело.*

*В комнату вошел Липранди. Увидев в чём дело, он повернулся к Толстому и окликнул его, но граф не поднял головы. Липранди скинул грязный сюртук и стал мыться. Он не был ранен, и когда увидел в смываемой с рук воде красно-бурые разводы, вспомнил, чья это кровь. Вспомнил и покосился на медиков, колдующих над бездыханным телом. Кто-то дотронулся до его плеча: Липранди вздрогнул, обернулся. Это был Толстой. В руках он держал разорванный и залитый кровью шпензер князя.*

*— Умойтесь, граф. Вы весь в крови, — тихо сказал Липранди, чувствуя, как по спине у него побежали мурашки.*

*— Это его кровь! — прошептал Толстой.*

*— Знаю, граф. Но у вас ведь и руки, и грудь, — начал было Липранди, но Толстой не дал ему закончить.*

*— Знаю! — рявкнул граф, — Но это его кровь, и я не буду смывать ее с себя!*

*— Как это можно, граф?!*

*— Можно! Она будет на мне, пока сама не исчезнет. Я не должен был отходить от него. Это моя вина! Моя! — Толстой схватил Липранди за плечи и с силой тряхнул.*

*Медики прекратили свою работу и посмотрели на Толстого.*

*— Полно, граф. Вы тут ни при чем. Война…*

*— Нет! — заорал граф, — Его кровь на мне. Слышишь, слышишь?! Я повинен! Я!!! Я буду в его крови, пока она не исчезнет.*

*Последние слова он выкричал из себя, как сгусток боли. Выкричал и вдруг заплакал, навзрыд, по-детски — прижав к щекам огромные кулаки, размазывая грязь и кровь, и то и дело всхлипывая: — В нос… по-пала ка-феинка… а-авось прогло-чу-у-у…*

За окном сгустились сумерки. Анна Алексеевна всё ещё находилась во власти прошлого: её лицо не выражало ни гнева, ни раздражения — лишь смертельную усталость и… облегчение: словно десятилетия она несла на плечах неподъемный груз, который, наконец, сбросила. Графиня наслаждалась тишиной. Она словно забыла о том, что в полумраке комнаты рядом с ней находится человек с сумасшедшими глазами. Но нет, графиня помнила о нём. Он мог быть опасен, и Анна Алексеевна не удивилась бы, если бы он вдруг набросился на неё. Ведь этот человек болен! Во всём его облике, в его отрывистой речи сквозило, однако, нечто более страшное и роковое, чем смертельная болезнь, чем даже сама смерть. Графиня видела это, и всё же не покидала комнату.

Она только что исповедалась сумасшедшему. Конечно же, это была не исповедь в подлинном, церковном смысле, однако в душе у неё теперь царило спокойствие. Анна Алексеевна была даже благодарна этому безумцу за то, что он не прервал её рассказ прежде, чем она выплеснула из себя эту память, исторгла из сердца ту, сгустившуюся до черноты кровь неразделённой любви.

— Благодарю вас, графиня, за повесть, — неожиданно заговорил гость, хрипло перечёркивая звенящую тишину. — Вот сегодня, кажется, уже среда, а я ещё живу. Значит, ещё не испита чаша… Знаете, ещё вчера вечером, — он запнулся, опустил глаза, потом медленно поднял их на Анну Алексеевну; та вскрикнула, но тут же прижала ладонь ко рту, и гость продолжил: — я собирался удавиться. Уже и на стол прыгнул, и петлю наладил, но стук в дверь… — За окном внезапно началось движение: по двору забегали монахи с фонарями, раздались громкие голоса, заскрипели ворота. Анна Алексеевна бросилась к окну. Гость приподнялся на локте, пытаясь разглядеть, что там происходит, потом лег на подушку и, усмехнувшись, сказал: — Это за мной. Господин Наскоков и с ним ещё кто-то. Не удивляйтесь, сударыня, я вовсе не Евгений Павлович Наскоков, я… Впрочем, это не важно. Я присвоил себе эти «Записки», но лишь потому, что спешил к вам, не дочитав их, а мне ещё требовалось уточнить кое-какие детали, чтобы… предъявить вам обвинение. –

Он виновато взглянул на графиню, усмехнулся: — Думаю, у меня есть несколько минут прежде, чем эти господа до меня доберутся. Так вот, господин Наскоков при нашей встрече поразил меня тем, что ищет потаённую причину случайной смерти генерала Долгорукова в битве при Иденсальми. Ведь нет ничего случайного в судьбе человеческой, и уж тем более — нет случайной смерти! Так вот, господином Наскоковым, между прочим, был сделан намёк на отвергнутую любовь генерала и в связи с этим обстоятельством упомянута некая весьма родовитая особа. И я, сударыня, почему-то сразу решил, что она — это вы. Ведь вы и генерал Долгоруков были одними из самых заметных фигур того времени и вращались в одном обществе. Знал также, что теперь вы окормляетесь при Юрьевом монастыре. Вот и взбрело в голову…

Я, видите ли, даже не сомневался в том, что именно вы, ваш отказ Долгорукову и послужил причиной его смерти. И так сие во мне загорелось, что даже о петле забыл и к вам поехал. Признаюсь, хотелось увидеть человека, который сотворил с чужой любовью то же, что и я. Живёт ли он, как я, в аду, помышляет ли как я ежедневно о смерти? Но возможно и то, что он — средство спастись… Я ехал к вам за надеждой! Поверите ли, графиня, во мне теперь такая тьма, что только смерть видится мне спасением.

Нет, никакая пытка не сравнится с богооставленностью, когда сама жизнь превращается в смерть ещё при жизни, и прекратить, прервать это, то есть покончить с жизнью, невозможно. Ничто тебя тогда не берёт — ни земля, ни огонь, ни вода… Это пострашнее всех Египетских казней, сударыня. Днём, при свете дня, ещё можно как-то существовать, но ночью… ночью выбирают самоубийство — переход из одного ада в другой. Но за что же, спросите вы, сия кара? А за погубленные души ангельские и за отвергнутую любовь. Была у меня семья: жена, дочь. Обе любили меня, нуждались во мне, в моей любви, и обеим я давал отставку: тяготили они меня, просто веригами висели на мне. Бледные, болезненные, молчаливые, с вечной мольбой в глазах и без капли осуждения. Ну, чистые ангелы! Это-то, ангельское, более остального в них злило меня и прямо-таки до исступления доводило. Сейчас понимаю почему: моя злая, распутная жизнь рядом с их ангельскими душами мне же и была невыносима. Своей чистотой они обличали меня! Жену я поколачивал, да и дочери, когда попадалась под горячую руку, доставалось. А уж как рыдали они обе, по сей день забыть не могу. Не от боли рыдали, не от обиды — от невозможности до меня, моего сердца достучаться!

Не нужна мне была их любовь и привязанность. Свободы я желал, одной только свободы, как её теперь, да и тогда уже понимали в обществе! Средства на эту самую свободу у меня имелись. Сначала мои, потом, когда мои закончились, жены. Я её и не спрашивал — взял да и отобрал! Ох, как я гулял, как бесчинствовал! Каждую ночь — кутежи, карточная игра, бесстыдные женщины, а то и жёны моих товарищей. Возвращался домой со свинцовой головой и всю свою злость — на жену и дочь, как помои.

Думаю, этим, в первую очередь, и надорвал здоровье жене: не могла она, бедная, без любви, под моим сапогом задыхалась. Незаметно заболела, и так же незаметно умерла. Явился однажды с гулянки, а она уж со свечой на груди, и рядом только кухарка — дочь мою за руку держит. Дочь — ко мне, надо бы утешить дитя — куда ж ей, такой малютке, со своим горем?! Да озверел я от сознания неудобств грядущих — отшвырнул её в угол, прочь, не путайся под ногами, и тем едва не зашиб. Та упала и даже плакать перестала — только глазенки таращит от ужаса и непонимания: что же, мол, это и есть тот мир, в который она пришла жить?! Увидел я тогда её лицо, и что-то развалилось во мне, словно клинок мне душу надвое рассек. И такая внутри у меня бездна открылась, такая свистящая глубина, что поглядеть страшно. Однако глянул внутрь себя и увидел — нет, не легион бесовский и не страсти, с которыми, кажется, уже сросся, — одни слёзы горючие, целое море слёз, что накипело в душе под спудом, пока гулял на свободе да жизнью услаждался. Схватил я свою малютку, прижал к себе, чтобы утешить, умолить простить меня, и слёзы вдруг сами из глаз хлынули. Замечу, сударыня, первый раз в жизни с отрочества своего заплакал. Да видно поздно раскаяние пришло — уж боится меня малютка, дрожит, вырывается…

После смерти жены я, признаться, уже во все тяжкие пустился, а чтоб совсем развязаться — дочь в деревню отослал. От греха подальше: боялся, не равен час — зашибу с похмелья. Но как отослал, так и заболел: каждый день память возвращать стала тот момент, как отшвыриваю малютку от себя в ярости и, вслед за этим глаза её вижу, а в них даже не обида, не страх перед этим миром, а осознание абсолютной невозможности совместного существования чистоты небесной и той грязи и жестокости, которая есть мир наш. И понял я, что в ней, в моей дочери, теперь моё спасение, что это Господь руку мне протягивает: сначала жену забрал, чтоб опомнился я, а потом и ангела сего, дочь неразумную на пути моем поставил. Поставил, чтобы сердце смягчить мне, чтоб не забывал я, чьи на мне образ и подобие и чтоб отвратился от того скотства, кое-давно почитаю обыкновенной жизнью человеческой…

Хожу, бывало, по квартире пьяный с этими мыслями и плачу, плачу. Однажды нашел в детской её рубашечку, сунул себе в нагрудный карман. Вот иной раз достану её — прижму к лицу, а она и не стиранная чистотой пахнет. Тогда опять плачу: целую ночь проплакать могу и так сладко на душе делается и так больно, что и не описать вам. Через те слёзы и полюбил наконец, как призывает нас любить Господь и как только подобает любить человеку.

Понял я, что жить без малютки своей уже не могу, и что служба и товарищи мне не так нужны, как моя дочь, поскольку нуждаюсь в ней, в чистоте её ангельской более, нежели нуждаюсь даже в самой этой жизни! И так мне радостно стало, так легко! Засобирался я к ней в деревню, а из деревни мне в опережение весть — нет больше вашей дочери, прибрал Господь. Как?! От чего?! Неужели не оправилась от того ушиба, что причинил ей?! Что же, выходит, я её и убил?!

Ох, и насмеялся же я тогда! Люто, яростно, смертельно! Ну, говорю себе, получил свою свободу? Ну вот, никто тебя более не связывает, один ты теперь, как ветер в поле, гуляй — не хочу! Можно во всю ширь размахнуться, наораться, набраться до чертиков в глазах, да и блевотиной своей захлебнуться! И началась свобода, которая пострашней острога оказалась, потому как от тех двух образов ангельских, от жены и, главное, от дочери, не было мне спасения. По ночам непременно обе ко мне приходили, и ведь не кляли меня подлеца — жалели. Это меня-то жалели! Знали б вы, что значит пробуждаться после таких снов!

Стал я память о них заливать вином, да только чёрной злобы в себе прибавил, а они обе все одно перед глазами стоят. И так мне нестерпимо в глаза им смотреть, хоть в петлю лезь. Но это только начало было. А чем дальше, тем невыносимей становилось мне здесь одному без них, мною загубленных. Бросился я в церковь ко Христу утешение искать, но и там даром спасение не дают — искупительная жертва нужна. Какая такая жертва? А вот какая: видеть загубленные тобой души как наяву и собственной виной казниться до смерти. Взмолился я, можно сказать, до кровавого пота взмолился: пусть минует чаша сия! Ведь невозможно душе это, нету у неё сил вынести такое! А священник возьми да и шепни мне на исповеди: то твой крест, и претерпевший до конца — спасётся…

Вот ведь как всё обернулось: не любил я их, и нелюбовью своею давил, а как раздавил, так и понял — не могу без них, душа моя по ним, раздавленным, саднит, как рана открытая. И там, внутри у меня, где должна быть любовь да радость, сидит кто-то и воет по-волчьи и нутро моё выгрызает!

Думаете, сколько можно так прожить? И день невозможно! А я так живу пятнадцать лет, живу и не могу умереть. Возможно ли такое, чтобы живому смерти искать?! Что только ни делал с собой! И дрался в кабаках смертным боем, и лоб под пули подставлял, и под тройку пьяным бросался — ничего не берёт! Знаю: это Он меня за агнцев тех двоих наказал чашей сей, бессмертием этим проклятым! Не пускает меня к ним, потому что недостоин я их. Вот ведь и знаю, что недостоин, а все ж криком кричу Ему, прошу дать мне возможность умереть, чтобы наконец распластаться там перед ними… Уж и кулаком Ему грозил и чуть ли не богохульствовал, но в ответ — молчок! Вчера сунул голову в петлю: думаю, ну всё, конец мытарствам, ввергаюсь во тьму на веки вечные… А сам медлю. И вот почему: знаю ведь, что, ежели сейчас сделаю это, никогда их больше не увижу! Ведь не к ним в горнюю обитель пойду, а прямиком в ад. Не смог удавиться, и никогда не смогу… Хотя по человечьему расчету легче покончить с собой, поскольку неизвестен ад тамошний и муки его непонятны! А эти муки здешние, они всегда с тобой… Жить здесь так, как живу — человеку невозможно! Здешний ад нельзя вынести! — нервный смешок исказил лицо гостя.

— А к вам, — продолжал он уже, со свистом выталкивая слова из горла, — я ехал ещё и для того, чтобы в лицо вам кинуть, что вы повинны в смерти генерала, поскольку отвергли любовь, что будете мучиться, как мучаюсь я. Любовь… Она ведь есть дар Божий, Его часть в нас, людях, Им по милости Его безграничной нам отданная. И попирать её, втаптывать в грязь — это все равно что хулить Святой Дух. Всё простится, даже распятие нами Иисуса Христа на Голгофе простится, уже прощено, а хула сия не простится. Никогда не простится! И будет нам ад за отринутую любовь! Потому что всё тлен на земле, всё, кроме любви. Потому что она и есть смысл всему сущему, и есть Бог вечный!

Эти последние слова он прокричал уже ворвавшимся в комнату и бросившимся к нему людям. Графиня прямая, бледная, зажмурив глаза и стараясь не слышать потасовку, — поручик ещё что-то выкрикивал, пытаясь вырваться, — шептала одними губами: — Как вас всё же любит Господь. Крест мученичества — он ведь подобен тому, голгофскому, и дается только самым возлюбленным, тем, кто может дотерпеть и донести его до конца. Ради любви донести! И вы донесете, ради встречи с теми двумя обязательно донесете. И страдания ваши выкупят для этого мира ещё немного жизни, ведь они как раз то, ради чего Господь ещё терпит всех нас. И я дотерплю, потому что хочу вечно быть с теми, кого люблю…

Ночью поручика увезли в лечебницу, а Евгений Павлович получил свои «Записки». Он долго извинялся перед графиней за это чудовищное недоразумение с больным поручиком, но графиня не нуждалась в его извинениях. Когда Наскоков попытался рассказать Анне Алексеевне о своих трудах, об истории, которую пишет, та холодно его остановила.

Пока Евгений Павлович смущённо прощался, графиня неприязненно смотрела на него и всё не могла понять, ради чего этот молодой человек занимается чужими судьбами?! Зачем рассматривает чужие страдания через увеличительное стекло: выуживает на свет какие-то сугубо личные, хрупкие и потаённые обстоятельства?! Почему вмешивается в то, что должны знать только двое: душа человеческая и её Создатель?! И не придётся ли однажды этому человеку жестоко ответить за свой страстный интерес к чужой жизни, но более того — к чужой смерти?!